

Александр ИЛИЧЕВСКИЙ

БУТЫЛКА

Повесть о стекле

У нас иногда так бутылку закупорят, что помрёшь от жажды или зубы обломаешь. Через это со мной однажды вышел случай.

Давно это было, родину мою ещё не совсем успели раскурочить – самый разгар зачинался; народ только-только стал вымирать, а пока с непривычки нищенствовал или отсиживался по ресторанам-заграницам. Но стрелять уже начали. (Вообще, это только сейчас – в Северной Италии, в начале апреля, когда миндаль кругом, как невеста, облачился цветом зари, – вспомнить можно без содрогания. А тогда – не жизнь была, а как бы сплошное её, жизни, сотрясение.)

Так вот, в ту пору однажды купил я в буфете консерватории бутылку крымского вина. Решил выпить с горя. Грустно было – жена выгнала из дому.

– Иди, – говорит, – денег где-нибудь достань – хоть своруй, а то мне скучно.

А надо сказать, по начальной профессии человек я совсем не денежный. Математик. Покамест жена так выкаблучивалась, я за год полдюжины работ сменил.

Так сказать, от теории к практике: за алгебраическую топологию совсем платить перестали, так я устроился оператором в Институте механики, на аэротрубе. Крылатых ракет макеты продувал. Работа совсем непыльная, между прочим. Сядешь верхом, пришпандоришь датчики, солнце из распашного цехового окна в трубу ярит, пропеллер стрекозиным нахрапом в зенках чешет, кругом турбулентность стрежни форсажем рвёт и мечет: и вроде как летишь – интересно даже.

А как отрубили электричество, встал пропеллер, определился я на Птичьем рынке торговать почтарами – покуда все они у меня от чумки сенной не отлетались.

После назанимал у гавриков с Птички денег на прокрут – стал челноком возить из Чада куртки кожаные: снабжал точку на толкучке в Сокольниках. Три дня там, два здесь. Шестнадцать раз сгонять успел – жене на радость: кожанки из шимпанзе хорошо шли, раскупались вмиг, хотя товар дорогуций. Особенно бандиты любили в шимпах щеголять: называли – «вторая кожа».

Мне до слёз было жалко всех этих птиц, обезьян. Жену проклинал, но, любя до смерти, грузил вонючие клетки, вёз вороха шкур в баулах – целые селения шимпов. Совсем извёлся на такой работе. Всю дорогу чудились мне преступные толпы, марширующие по проспектам в моих куртках. А за ними – духи голых обезьян, – то стенающие, то передразнивающие тех, кто щеголял в их шкурах...

Хорошо – на семнадцатый раз у меня на таможне всю партию отобрали. По всему – соседушки сокольнические стуканули начальничкам. А закупался я на всю прибыль, как фраер: не припас на чёрный день почти ничегошеньки.

Говорит мне таможня:

– Попал ты, парень: кожа приматов хуже наркоты.

Так и вышло, по сказанному: на деньги большие попал – откуп, долги. Ужас меня объял, скушал, жизнь совсем обрыдла.

Жена мне говорит тогда:

“Зарубежные записки” №14/2008

– Ты бы ушёл пожить ещё куда-нибудь, а то и меня с тобой прищучат.

А я тогда в последний заезд подхватил в Чаде дизентерию: хлебнул в аэропорту, в сортире, две горсти воды из-под крана – не стерпел, жарко там очень.

Не пожалела:

– Иди, – говорит, – подобру-поздорову.

Я и пошёл: в Зюзино ночевать к приятелю – в аспирантскую нашу общагу. Еле дошёл – то и дело прятался по кустам с нуждой неотложной.

В Зюзьке месяц промаячил орлом над толчком, как джин дизентерийный, чуть не помер: а подайся я в больницу – сразу бы засветился. Так бы и кончил: в дерьме и в крови, как в кино, по уши.

Однако, пока болел – отстрелил кредиторов моих кто-то.

Жёнка ж меня обратно пустить – ни в какую. Отвыкла, видать, пока прятался.

Ну, думаю, ладно: разбогатею – сама прибежишь.

Устал я тогда очень. Исхудал – одни мозги да душа остались.

К тому ж, до смерти устал от страха трястись: достали – жена, покойные кредиторы. Дай, думаю, тайм-аут возьму – расслаблюсь, пораскину, как дальше быть, может, что и надумаю с толком.

И полюбил я тогда читать книжки и по городу ходить. Стишки повадился на ходу придумывать. Математикой кое-какой снова в уме занялся. Но всё больше стишки, конечно. Днями целыми ходил, шлялся где ни попадя, нагуливал настроение на поэзию, – чтоб ввечеру стишок какой тиснуть на бульваре.

Ночевал я в той же общаге – в кастелянной, чтоб приятеля, с бабой новой его, не тревожить. Ключ подобрал и ночью вскарабкивался на сложенные матрасы. Как принцесса – на горошину. Нехорошо там спалось, несмотря что мягко очень: спишь, как на облачности летаешь, – туда-сюда во сне болтало, будто падаешь и взрываешься, а земля, твердь – с горошину ту самую, что заснуть глубоко не дает, так как ворочается под поясницей – далеко и жутко. Всё оттого, что матрасы чересчур высоко были наложены – до потолка носом подать. Форточка на уровне глаз маячила. В неё звезда одна вплотную смотрела, мигала всю дорогу небесную: мол, держись, браток. Я и держался.

И ещё минус – рано вставать приходилось, пока не нагрят комендантша.

Чуть свет – вскакивал, умывался и шёл бродить по городу, как собака, которую из дома вышвырнули, а та – не в силах привыкнуть к воле – повадилась ночевать на чужом пороге.

У гуляний моих было два направления – любопытство и праздность.

Вот по первому я и зашёл однажды к Петру Ильичу Рубинштейну – проверить репертуар консерваторский. А там пусто – никто уже не играет, оркестранты, видать, по кабакам подались лабать: только, смотрю, в буфете мурло с саксофоном торгует винищем. Подудит, подудит и кассой – щёлк.

Ну, думаю, раз нет репертуара, то и мы выпьем.

Дайте мне, говорю, вон ту бутылку, в чёрно-красной этикетке, с кудряшками; называется «Чёрный доктор».

Мурло снял, рукавом от пыли обмахнул. Поставил:

– Семнадцать рублей с вас. Только это никакие не кудряшки, а лоза виноградная.

И – ка-ак духанет в басовый аккорд: шквал перегарный оплеухой в морду. А мне всё равно – взял бутылку за горло да пошёл на Суворовский бульвар, чтоб в теньке оприходовать эту гадость вместо музыки, раз ничего не играют.

Только вот пробка что-то не вытаскивается.

Верчу я бутылку так, сяк, по дну ладонью, коленкой стучу – ни в какую, ни на миллиметр. Авторучку сломал – хотел внутрь протиснуть. Мизинец вывихнул.

Пробка ж ни с места – приросла, пустила в стекло корни. Прямо клин какой-то, что свет извёл. А подумать – кусок деревяшки, щепка.

Изнемог я с этой пробкой, хотел было бутылку устаканить в урну, а вместо книжку достать – та, поди, уж точно сразу откроется.

Но не тут-то было.

Там, на бульваре, стояла напротив скамейка. И два битюга на ней в кожаных польтах (я своих обезьян сразу узнал по покрою – такой фасон имелся только у Баламуда, чадского моего подельщика). Оба лысые, с усами. Только один побольше, а другой в очках – ему по плечо и виду более благообразного, похож вроде на барсуна¹.

А погода кругом – чудо в юбочке: начало июня, птички, солнышко, липа цветёт и запах от нее волнами ходит.

Смотрю, те двое воблу, тарань или плотву какую – издали не опознать – брезгливо так, щепотями ломают надвое: один держит, другой тянет.

Но вот бросили рвать, и Барсун мне рукой машет, подзывает.

Я смекнул – надо чего, или насчёт воблы кое-что хочется выяснить – взял да и подошёл к ним: человек-то я, в общем-то, вежливый, податливый, можно сказать, – а что виду они – не по мне – такого, то это – это, думаю, ничего: всё ж таки, как все – прохожие.

Подхожу, а Барсун мне и говорит – чего, мол, ты бутылку бросил? Совсем дурак? Неси сюда – мы тебе выдадим штопор.

Принёс я бутылку (чудо, что ещё никто не потырил). Хотели они мне её штопором чпокнуть – не тут-то было. Повозились, покрутились – только растянули в проволоку штопор из ножичка швейцарского.

Плюнули. Ладно, говорят, хлебни нашего. Достали из портфеля такую же, но початую. Хлебнул, а свою за пазуху прячу – ещё пригодится, думаю, раз попался экземпляр такой уникальный – прямо камень преткновения, что ли.

Тем временем хлебнул я ещё из подарка.

Стали расспрашивать. Точнее – Барсун делал мне вопросы.

А тот, что грозный с виду, почти всю дорогу стрёмного пути моего помалкивал, – видимо, то ли цену себе набивал, то ли оказалось, что плевать ему на меня.

А я и отвечаю, сопротивляться не думаю даже – два месяца ни с кем не чесал, дай, думаю, слова хоть какие вспомню, языком на ощупь.

Сначала, говорю, занимался математикой, был аспирантом, в универе решал задачки всякие по математике, а потом жизнь кувыркнулась и пошла, пошла ковёрным во все тяжкие – сдурел, говорю, совсем, науку на мели кинул, спекулянтom стал, перестал – чуть не шпокнули из-за денег; стишки с горя начал придумывать, вот и жена прогнала из дому, доигрался, говорю, дурень.

Раньше, говорю, когда замуж шла, думала – за академика прётся, да не тут-то было.

– Обозналась, – говорит, – звяняйте, батьку, а мне иную партию пошукать треба.

Украинка она у меня, червовая дива – красивая-ая, – ну, як панночка прямо. Брал я её из Житомира – на конференции в Киеве познакомился: была она на заработках – горничной в столичной гостинице. А теперь вот одна по квартире моей – родительской – шастает. А может, и не одна, не знаю... Поди уж и карточки мамины со стен в сервант запихала. Однако ж забыть её никак не могу, как ни силюсь. Сроднилась она мне, не то что – я ей: чужой совсем придурок. Думал недавно: собаку купить – подружиться с пёсиком, развеяться – да вот сам бездомный, куда я щенка приведу, а с собой таскать – утомится бедняга.

¹ “Барсун” – это барсук (прим. автора)

А подумать – деревня она у меня деревней: сельская жительница, малороска – ей бы яблоками на базаре торговать, а тут нате: прописка в столице, трёхкомнатная хатёнка на Плющихе. Да ещё мужнины сбереженья – хватит года на три сплошного шика.

К тому ж, говорю, мужа-то самого похоронила заживо...

На самом деле, говорю, я её даже жалею – она от глупости такая злая. Бедненькая она, неграмотная почти – половину слов по радио не понимает: как раз от неё-то я и говор такой перенял придурочный – vox roripi, не отделаюсь никак. Да и не хочу, если честно: из любви, из памяти, что ли.

Да-а, вздыхаю, была червовая, стала червлёной.

И ещё хлебаю из халявы. Хлебаю – и вдруг чую: разобрало меня хуже некуда. Понимаю, что вру-завираюсь, а стоп себе сказать не хочу – не потому, что вздумал пожалеть себя, а потому, что слишком я себя ненавижу всё это время.

Очнулся я от себя, смотрю, на соседней по лавке – Барсун вроде проникся: хлопнул напарника по лопатнику, где сердце, – кричит:

– Наш человек, наш мальчик!

– А я, – чуть он не прикусил мне ухо, – семь лет отрубил профессором филологии в Лумумбе, слышал про контору такую? А теперь вот – накося: бухгалтер!

Тут я смотрю: а Барсун-то – в стельку. Как насчёт второго биндюга, не знаю: молчит он всё; а этот уж как пить дать.

Барсун тем временем – вроде как от болтовни моей – обмаслился, раскис совсем, мне шепчет:

– А я, понимаешь, пять лет по Соссюру лингвистику читал, Леви-Стросса, Якобсона, Бахтина, как братишек, люблю и – во как уважаю!

Тут второй бандюган достаёт три четверти «Абсолюта перцового» – красивая такая, тонкого стекла и цены высокой водка, – одно плохо: только четверть в ней кристально плещется, – и строго так одёргивает напарника:

– Ты что-то, Петька, совсем забурел. На вот – сполосни от рыбы ладошки, морду побрызгай. – И давай лить водку на щебень, я аж поперхнулся.

Помыли они руки, умылись – и собираются уходить. Встали, оглядели лавку – не забыть бы чего. На меня не смотрят – нечего смотреть ведь.

Тут сзади из кустов к ним ещё трое в шимпах, победней, подходят – и встали в сторонке. Пригляделся – стоят тихо и в карманах щупают, катают нечто, что ли.

Ну, думаю, сейчас начнут палить. И тихо так, не раскланиваясь, пригибаюсь и в сторонку отгибаю понемногу – без внезапных движений.

А Барсун мне:

– Цыц! С нами пойдёшь. Море пить будем. Правда, Петь, ведь наш мальчик-то, совсем наш!

Здоровый Петька плечом – крутым, как бугор, – повёл под кожанкой и на маленького вполоборота глянул:

– Как хочешь. Только странно мне это, ты знаешь.

Короче, те, что из кустов образовались, – сподобились ихними телоблюдителями. Деловые такие, услужливые – всё молчат и головы набок клонят: у них по наушнику в каждом левом ухе блестит – будто слушают глас Старшего или тайное радио.

И я оказался вроде как при них – плетусь и шаркаю, а зачем – ещё не знаю, из праздности, видимо.

А с Барсуном творится уж совсем пурга: он то трезвеет, прямо идёт, глазом в стёклышко зыркает, а то совсем в стельку стелится, на руки телохраникам падает. Прямо как мальчик маленький с папой-мамой за ручки: два-три шага нормально пройдёт и вдруг – повиснет. Третий же рядом с грозным Петькой пошёл – адьютантом вышагивает.

Ну, думаю, придуряются типчики: непременно надо держать с ними ухо остро, а то выйдет неприятность. (Я же не знал, что она, неприятность-то, и так уже вышла...)

Между тем скверик кончается, сходим с обочины.

Тут, откуда ни возьмись, «пontiак» кровавый – вжик: колёса – как солнца. Водила миллиметраж хотел по бордюру выправить – ботинок мне со ступнёй отдал. Хотя и не больно, но нагло. Надо, думаю, возмутиться.

Смотрю на водилу подробней – а тот пушку с правого сиденья принял, на торпеду швырнул, будто вещь какую. Ладно, думаю, пусть пока катается как хочет...

А на правое сиденье уже укладывают Барсуна под локотки, распахнули задние дверцы – и предлагают мне присаживаться подле Молчуна ...

В общем, чем дальше, тем глуше – как в сказке.

Колесим мы, значит, по центру на кумачовом «пontiаке» – девки на нас с тротуаров заглядываются, парни оборачиваются. Наше счастье – пробок ни одной, есть где с ветерком раскатиться. И мне езда очень нравится – полгода хожу пешком, деньги на такси экономлю. Устроился поудобней – бутылку свою в руках чуть передвинул, чтоб не выпала, и стекло на всю спустил – глаза с удовольствием подставил встречному ветру.

Барсун сначала вздремнул, потом приободрился, стал хулиганить: высунется на светофоре перед какой-нибудь пешеходной бабёнкой – и то песню орёт ей про княжну Стенькину, то «Облако в штанах» декламирует. Кричит-рычит:

– Мар-р-рия! Дай! Не хочешь?! – Ха!

Женщины от его рожки справедливо шарахаются, а он им вдогонку: «У-у-у!» и ладошкой по юбке – хлоп, словно ловит муху в кулак.

Короче, поколбасились мы так по улицам ещё минут двадцать и прикатили куда-то на Знаменку. Выходим. Там опять та же охрана – встречает. Все трое тут как тут – как на часах, разве что не тикают.

Поднялись в офис. В нём пусто, компьютеры пылятся на столах, вверху пропеллер гнутый вертится, препинаясь, как во сне. На мониторе одном бюстгальтер, будто прапор переговорный, выставлен. И кот здоровенный рыжий по подоконнику пляшет на задних лапах: за жалюзиями мух мутузит по стеклу.

В углу громоздится сейф и радио над ним надрывается:

– Пусти, пусти, Байкал, пусти!

Я и смекнуть не успел, старший Петька пошуровал на коленках что-то под сейфом, дверца – прыг, а там – ёлки-палки: денег как грязи! Мама мия... Доллары – баррикадами, марки – развалом, а рубли – вроде как мусор: сверху ими всё припорошено.

Вдруг радио над сейфом прохаркалось, тишиной немного пошуршало да как выдаст:

– Дорогие братья и сестры!..

Тут Барсун опять протрезвел – шмыг прямо к сейфу, радио щёлк и – цап-царап, цап-царап – пачечки распихивает по карманам: две себе положит, а третью передаст напарнику, что ещё с колен не встал. Когда набрал норму – хлоп дверцей и шасть к моей милости – суёт мне в нагрудный карман кипу и прихлопывает, чтоб оттопыривался поменьше.

А я:

– Извините, ни к чему мне эти фантики. Спасибо, – говорю, – возьмите, пожалуйста, обратно, – и ему в карман всё дочиста перекалдываю.

Тут Барсун опять обмаслился да как заорёт, полез обниматься:

– Наш, наш, Петька, мальчик! Я ж говорил, нашенький он, ты не верил!

Короче, дальше был уж полный швах.

Повели они меня во все тяжкие. В Дома журналистов, литераторов, киноактёров и композиторов – по ресторанам море пить. И всюду-то их знают, всюду-то их у дверей по мановенью охраны встречают, усаживают за столики, подвигают стулья, тут как тут несут семужку норвежскую с кухни, на пробу посла... Однако лично на меня халдеи как на собаку поглядывают – будто я хуже Петек. Да и то правда: ведь на дармовщинку-то с хозяевами жизни путешествую... Но посмущался я недолго – и расстраиваться плюнул: сам себе на уме буду, а на ресторанщиков чихать – плебс как-никак, какой с них толк-то?

Ну и натрескался тогда Барсун наш! Мне его аж жалко стало. После последнего номера – в Доме композиторов, где он Шнитке пытался девке какой-то на бюст намурлыкать, – блеванул-таки на выходе.

Притом – ладно бы, если бы так просто стошнило: подумаешь, человеку стало дурно от живота. Но ведь вышел еще больший конфуз при этом. С Ростроповичем.

Он, оказывается, в эту самую минуту, как подались мы из ресторана, – из аэропорта на родину возвращался впервые. Из Шереметьева должен был с женой-певицей и делегацией встречающих заехать на Новодевичье кладбище – поклониться Шостаковичу. А после – в родные пенаты. Вот его здесь, у выхода-то, и ждали. Ему квартиру в доме Союза композиторов вернули перед приездом – и подготовили встречу с митингом.

Как раз мы из ресторации выходим – чтоб пройти к Центральному телеграфу, где машину с водилой оставили. А тут – фу-ты ну-ты – толпа на выходе жужжит и куражится: дамочки в декольте бижутеревых, мужики-пиджачники – по всему видать, композиторы – смолят трубки, подбоченясь, гривы правят пятерней. Плюс – официантки в жилетках бегают с мельхиором и богемским на руках – шампань разносят, репортёры пробуют вхолостую вспышки; а над подъездом висит лозунг – голубым по простынке белой: «ГАЛЕ И СЛАВЕ – СЛАВА!»

Прямо свадьба какая-то. Я аж оглянулся – шаферов искал...

Тут Барсун, как всё это увидел, – ка-ак блеванёт на поднос разносчику – тот обалдел: стоит, как закопанный, и даже не мыслит отряхнуться. И я стою, бутылку свою плечом наружу подвигаю – думаю, как начнут бить, так хоть ей оборонюсь, чтоб совсем не забыли.

А Барсун тем временем отплевался и как завопит:

– Люблю Шостаковича! У-у-у! Пятую! Давай симфонию! У-у-у! Всем – лож-жись! – смир-рна! Пятую давай! Давай Пятую! У-у-у! Хочу плакать! Су-уки, плакать хочу!..

В общем, пока он так выл, едва наша охрана подросла – а то бы Барсуна как пить взяли – схавали б и растоптали: за хвост и башкой об угол. Это точно – композиторы, они слов не понимают: у них сплошные чувства, звуки – звери, прям, какие-то...

Думал я, что на этом всё. Что меня теперь в свояси отпустят. Но не тут-то было. Ошибся я. Причём трагически. Прямо, как Федра какая, ошибся. Или – петух: который через думку свою окаянную попал в ошип, – тоже фигура трагическая, не хуже Антигоны.

После Ростроповича последовал один актёр. Добрейший дядька, понравился мне очень. Забурились мы к нему у Белорусского вокзала. Поднимаемся – смотрю, а в дверях, чёрт возьми – Генрих IV стоит, из моего любимого кино, – только не в латах, а в трениках и в рубахе навыпуск...

Приветил нас актёр, накрыл стол, бутылки откупорил и песенник достал – всё как полагается. Только недолго у него мы загащивались.

Поорал Барсун вдоволь «Выхожу один я на дорогу», и тут мне поблевать захотелось. Иду срочно в ванную, но смотрю краем глаза – Генрих за мной. Ну, думаю, – мало ли чего, может, руки охота ему помыть. Однако ничуть. Стою я, блюю мало-помалу, а король мне в ковшике подносит воды с марганцовкой. Красивая у

него ванная – я отметил: кругом кафель с корабликами-рыбками всякими, и ещё особенно запомнил – на полке под зеркалом стоял шампунь забавный: прозрачная банка с буквами, внутри – сияет янтарь жидкий, а в нём здоровенный жук-олень, а как он туда рогами через горлышко поместился – чудно, неясно.

Черпает Генрих мне, значит, третий уже ковшик, а после ласково так массаж по спине, по плечам запускает. А я, дурак, расслабился зачем-то – давно никто не уделял мне ласки: жену, идиот, телом вспомнил, чуть слезой не пришибло. И на жука того в колбе смотрю-смотрю: чудится мне всё, что он рожки мне делает, шевелится. Если б не жук – точно бы разревелся...

Хорошо, я вовремя очнулся: в зеркале Барсун из дверей залыбился. Я ж от измены такой обстремался срочно.

Спасибо, говорю, Генрих Антонович, но я совсем не по этой части. Просто, говорю, жена от меня ушла.

Добрый Генрих тоже смутился:

– Ничего, – говорит, – извините, бывает.

Говорю ведь: превосходнейший человек – не только что фильм отличный. Жаль, что мы срочно так от него ушли: Барсун снова тошнить захотел. Причём, кричит: надо ему на воздух. – Воздух, – орёт, мне дайте, – и во двор без лифта дёру, – мы за ним, ясно дело: всю песочницу заблевал, едва дети спастись от дядьки страшного сумели.

А потом – прямо кошмар, что потом случилось.

Вообще, на первый взгляд, мы совершенно произвольно, совсем не руководствуясь принципом наикратчайшести, колесили по городу, время от времени будто случайно выныривая там, где надо. Этот способ передвижения, этот способ проистекания пространства, странным образом напоминал принцип лотереи: где мельтешение шаров, злобно будоража мертворождающееся будущее, содержит абсолютно все ваши куши – но выскакивающий номер раз за разом приходит точно по назначению: на убийство ваших шансов.

Однако, приглядевшись к городским рекам и речкам, проистекавшим в окне «пontiака» (передвижение по столице вообще похоже на путешествие по дельте могучей реки, имя которой – Государство), я вдруг заметил, что видение города происходит по какому-то совсем не случайному плану. Что оно движется со своими особенными монтажными ужимками и выкидонами, будто беспредел катаний на «пontiаке» дадаистическим образом составляет мне метраж исторического фильма. Всю дорогу мы норовили замедлиться или вообще беспричинно тормознуть у какой-нибудь известной городской усадьбы. Так, мы минули кратким постоем – тургеневский мемориальный домик на Пречистенке, где Иван Сергеевич почти и не живал, страдая от вечного раздора с норовистой своей матушкой; на Поварской у Дома Ростовых мы прокатывались едва ли не три раза сряду, а после сразу же рвали зачем-то поверх Крымского брода на Воробьёвы горы, понятно – с залетом через Хамовники – чтоб, будто нарочно, дать крюк у Девичьего поля, где стоял каретный балаган, содержавший Безухова и Каратаева в плену у французов. Я уж не говорю о бесчисленных проездах по Лучевым в Сокольниках, где Пьер за сучку Елену подстрелил Долохова. А также о разлётах у Дома на Набережной, через Каменный мост, на Театральный и Лубянский, к Музею Маяковского; а потом тут же с залётом на его же мемориал на Пресне, 36, мы рвали к «Яру» на Грузинах, и после сразу на Солянку, к Трехсвятительским, к дяде Гиляю, на «Каторгу» и к Ляпинским трущобам, хранившим великого Саврасова... Вот там как раз я не выдержал, укачавшись поездкой, и хорошенько проблевался под минералочку под флигелем Левитана, стоявшим во дворе Морозовской гостиницы, где в подвале эсеры держали в заложниках Дзержинского... И хотя я и был сурово пьян, но то, что мне

город собирался указать этим «кино», – меня волновало больше, чем Барсун, во сне слюняво кусающий моё плечо, как младенец мамкин локоть...

Постепенно насторожившись, я стал кое-что прозревать, но не успел утвердиться, как Барсун в машине опять – от ветерка, видать, – протрезвел, стал липнуть к водиле: мол, хлебни глоток – смажь баранку. Вовремя остраполил его здоровый Петька, успел: водиле-то отказать неудобно – раз сам легионер предлагает, он уж и грабли от руля за бухлом протянул. Только Петька-большой тут ка-ак – шмяк Барсуна по жирному загривку:

– Ты что, Петюня, по нулям забурел?

Барсун тут же на попятную: бутылку в окошко – швырк.

И смекнул я тогда, кто тут по правде у них настоящий император, а кто прокуратор выдуманный...

Не успел я размыслить над этим, как Барсун достаёт из перчатницы ещё одну – и ко мне:

– На – глотни, всё равно пропадать!

А я – в несознанку: мне, говорю, не хочется, мне, говорю, и так плохо.

А сам бутылку свою от страха к рёбрам плотнее жму: думаю, ежели что – как вдарю...

Тогда Барсун всполошился да как заорет водиле:

– Гони к Парфёнычу, гони! Я его с курями поить стану!

Пока к Парфёнычу катились, на улицу Энгельса, к Головинскому саду, Барсун опять ко мне с сантиментами – гад, замучил совсем:

– Ты, – говорит, – определённо наш мальчик. Ты, – говорит, – даже не представляешь, какой ты наш, как тебе повезло, засранцу.

Ну, думаю, пусть, пусть себе язык треплет: я чуть что – на перекрёстке дверцу во дворы распахну – только ты меня и видел.

А пока до Парфёныча в пробках стояли, рассказал мне Барсун историю одну – то ли расчувствовался, то ли со скуки, только стало мне вдруг интересно.

Говорит:

– Что тебя баба помелом погнала, это я очень даже понимаю.

Я, когда тебя чуть постарше был, тоже траванулся любовным расколом. И чтоб не страдать, аспирантом в загранку подался. Нас из МГИМО куда хочешь тогда посылали – пошпионить, постажироваться. Вот и я рванул с тоски в Германию – развеяться. Там меня по части комсомола определили, фининспектором вроде: я взносы по гэдээровским райкомам собирал, учитывал – с умыслом, ясное дело... Короче, – говорит, – ты не поверишь – плакать будешь, как я резидентом в Зап. Берлине себе крышу определил. Открыл казино со стриптизом на комсомольские взносы. Так и жил – во сыру да масле, а пива было – сплошная ниагара... Про бабу свою от жизни такой забыл наскоро – как не было, суки той. Вот и ты забудешь.

Тут я, конечно, ему не поверил. Хотя сомнение он в меня заронил, признаюсь.

Однако, долго ли коротко, приехали мы до Парфёныча – в ГОРО: Городское общество рыболовства и охоты – над самой Яузой, в Лефортово, особнячком шикарная такая усадьба, с иголочки после реставраций. Высыпаемся ко входу – а у дверей кипарисовых уже телохраны: Гогой-Магогой стоймя стоят, башками друг к дружке жмутся – наушники одни на двоих слушают. Нас увидели – разошлись, ходу дали – а наушники на проводке провисли типа ленточки. И зря – Барсун проводок как рубанёт наотмашь: левый за ухо схватился – терпит.

Смотрю на угол с адресной табличкой: Большой Эльдорадовский переулок, а по перекрёстку – Энгельса, значит.

Ага, думаю, приехали...

Заходим, поднимаемся кое-как – больше Барсуна в поясицу толкаем, чем сами идём. Да еще лестница винтом – крутая больно, но красивая – вроде витражная колба идёт вокруг ступенек штопором: ромбы, цветочки, серпы, молоточки, знаки качества (пентаграммы с человечком, внутри распятым), восьмиугольники также, голуби, веточки, звёздочки разные... По такой лестнице, если б не Барсун, подниматься одно удовольствие – как во дворец, не меньше, а то и – в ракету на Байконуре.

Но вот и вскарабкались. Главная зала – насквозь залитая светом, будто лампа – вроде как музей: зеркала, стол с приборами, пионы в корзинке, клавесин, камин, картины по стенам маслом – всё больше, правда, монтажники-сталевары, туркмены на комбайнах, хлеб золотой веером, ворохом и фонтаном – плюс политбюро, правда, не в полном составе: однако Ч. и Щ. там были, на почётном притом местечке, узнал я их... Лет семь тому я ихние биографии на политинформации в школе докладывал: была у нас такая бодяга – по утрам на первом уроке вырезки из «Правды» по очереди расписывали вслух перед классом...

А как узнал я портреты – на чистой интуиции, необъяснимо – вздёрнул бутылочку свою из рукава повыше, чтоб сподручней – наотмашь – с плеча вскинуть...

Тут заминка вышла – Барсун вдруг с равновесья вздумал заваливаться. Прислонили мы его к косяку, разворачиваемся, обходим залу, смотрю: стоит нараспашку сейф-иконостас – точь-в-точь как в прошлой конторе, только изнутри дверцы иконами увешаны, – а перед ним жирный мужик расхристанный, в рубахе белой навывпуск, верхом на коньке-горбунке – на кресле-качалке с ногами – туда-сюда, туда-сюда – и в сейф из арбалета целится.

Дзень-бум – ба-бах!

И стрелу перезаряжает – меланхолично, как «Герцеговину Флор», пальцами из колчана на ощупь тянет.

Смотрю, а у него вместо мишени внутри – пачки денег, как в «городках», выложены колодцем-пирамидкой: и стрелы ежом торчат.

Этот-то мужик Парфёнычем и оказался. Никакой уже был, лыка не плёл, только мычал и рукой двигал в бессилии, будто пса гладил, – так что мне его Барсун представил: мол, олимпийский чемпион по стрельбе из лука, а нынче – завхоз ихнего филиала.

Ну, чтоб ещё покороче – скажу сразу, чем кончилось.

Милицией. Напротив усадьбы ГОРО – через речку, у Головинского сада, куда Пётр к Лефорту на ботике по Яузе из Петербурга для ревизьи-по-мордасам скатывался, – чудный бело-розовый госпиталь Лефортовский – стройно так очень – стоял на взгорье по-над речкой – в нём как раз в двенадцатом году Платоша Каратаев с кой-какими однополчанами из Апшеронского полка отлеживался от лихорадки. Так вот, Барсуна за пальбу по гошпитальным окнам-то и увезли с концами – мудила через форточку палил, навскидку из арбалета: пальнёт, прислушается, как стёкла падают – и ржёт от счастья, затвор перетягивает. И Парфёныча менты для коллекции прихватили – ни за что, так просто: пьяному ведь, как мёртвому, всё одно, где ночевать...

А нас с Молчуном – возьми да и выпусти из «воронка» на полдороге: за полсотни.

Я дал. Молчуну, видно, всё это по барабану было. Пока нас везли в лефортовский «обезьянник», сидел чин-чинарём – спокойный, как Емельян Пугачев: ногу на Парфёныча поставил, локтем на Барсуна опёрся (тот плашмя на скамейке пузыри храпом пускал), платок чистый достал, утирается, за решётку на ландшафт похозяйски поглядывает.

Я размыслил-прикинул – чую: нечисто здесь что-то, – ну их всех в баню, не хочу я в участке лишний раз светиться... Достал купюру – машу ею в задний вид сержанту.

Тот по тормозам, к нам вертается:

– Командир, маловато будет: я те чё – маршрутка?

Тут Молчун отозвался:

– Это за двоих, начальник. Остальных баранов я тебе на съедение оставляю.

Отпирает нас сержант, взял полтинник, осмотрел, посторонился:

– Вы, – говорит, – трезвые и смиренные, даром что сомнительные клиенты, так что хиляйте поздорову, сами дойти сумеете, некогда мне с вами.

Ну, мы и пошли. А чего, собственно, не уйти, раз не держат? Вот если б препоны чинили, тогда и остаться бы можно – чтоб шум не подымать. А так-то – чего перечить?

Ну, значит, выходим. Глядь – опять телохраны, как архангелы, на тротуаре стоят. Я было обратно в «воронок» полез, но он вспорхнул.

И тут как раз самое интересное начинается.

Молчун молчит, набычился, на меня не смотрит, а я бутылку за пазухой жму – так, на всякий случай: поди прочитай, что там у него на уме, – может, сердится за что-то, чего вдруг – ещё драться полезет.

Но драться Молчун не стал. Наоборот даже. Охранников жестом остраполил – мол, держитесь подальше – и легко так под руку к метро меня влечёт.

У подземного перехода сплюнул длинно в урну – попал, платочком утёрся и зырк – на меня с приглядкой.

Ну, я напутствие какое от него ожидал. Думал, сейчас скажет чего-нибудь, вроде «живи», «бывай» или «не кашляй». Однако совсем обратное прощание у нас с ним вышло. И не прощание даже, а наоборот – знакомство.

– Меня, – Молчун говорит, – Петром Алексеевичем зовут. Вы извините, мы вам тут собеседование несложное хотели устроить – только вот как оно всё вышло. Ну да ничего. Я и так вижу – вы нам годитесь вполне.

Я – честь по чести – в несознанку: стою, ног под собою не чую, не то что землю. Бутылку ещё крепче сжал – думаю: щас как вдарю – ежели что, конечно.

А дальше Молчун такую пургу несёт:

– Я, – говорит, – хочу предложить вам в нашей системе, в совместном предприятии то есть, одно симпатичное место. Не пыльное совсем, при этом вполне денежное, солнечное даже место. Вы, я вижу, в деньгах нуждаетесь – да и проблемы личные вас поджимают.

А на том месте – всё, как рукой, – слетит, исчезнет. К тому же – поучаствуете в полезном деле: Партии и Комитету вновь требуется отбыть на время в эмиграцию. Но мы вернёмся еще, – тут Молчун как-то особенно помрачнел, искра какая-то перебежала с левого глаза на правый. – На табулу расу, так сказать, ворвёмся, лет через пять...

В общем, приходите в пятницу к нам в филиал – мы там были сегодня, в Эльдордовский переулок, – я вам всё разъясню с подробностями.

Руки не подал, повернулся – и пошёл вразвалку: спина кожаная – стена ерихонская, загривок – бритый в складках, каждая – в три пальца, а кулаки по бокам свисают – будто палач за вихры головы несёт, помахивает. И – бугаи-охраннички за ним, как дети за папой.

И такой вот ужас меня тогда обуял – вспомнить стыдно.

Тут же поклялся себе – ни за что: режьте меня, полосуйте – баста, и так напрыгался, теперь буду книжки читать под забором!

Рванул с ходу в метро и, спотыкаясь, попадал в нескольких местах на эскалаторе. Влетел в поезд не на то направление – и ещё часа два куролесил по городу, чтоб потеряться.

Однако же, не потерялся. От себя не уйдёшь, не то что от дяди.

В пятницу из общаги, где после жены я в кастелянной на тюфяках притулился, перебрался срочно в чердак – и оттуда, конечно, ни шагу. Все выходные проторчал с голубями, замучили они меня – голова под конец гудела от шумных их случек: кудахчут, гулят, воркуют, молотят крыльями – сил нет: не чердак, а мельница-бордель, натурально. Или – часы живые, башенные, вспять спятвшие. Одно было приятно в этом пребывании – когда сизари затихали пыль месить, – лучи солнечные из-под щелей в карнизе шевелились пучками копий – веером по ходу солнца, поджигали нефтяные разводы на голубиных грудках, и вдруг разливалась тишина замيرانья – особенная, будто перед справедливой битвой.

В понедельник, уже успокоившись, спускаюсь – умыться, погулять, съесть чего-нибудь... Чу! – в холле Барсун стоит – от разомлевшей вахтёрши подвинул к себе телефон и чему-то лыбится в трубку. Я ещё заметил зачем-то: телефон старого образца, как на КПП, – эбонитовый, увесистый ларчик... В общем, я чуть не умер: горло распухло от ужаса, хотел садануть его телефоном тут же, а самому ломануться – в Томск, Тамбов, в Мичуринск, в Турцию – на дно закопаться... Только я решился – он тут же хватъ телефончик: и вжик его за стойку обратно. Вахтёрше мигает: мол, спасибо, миленькая. И вот жалость – бутылки у меня при себе не оказалось: расслабился, в кастелянной под матрасами оставил. Так что вдарить ему тогда у меня не вышло...

А Барсун меня увидал, откинулся поясницей и, падло, мигает: приветик!

В общем, так я к ним в лапы-то и попал. Тяжело попал, круто даже. Однако сейчас уже – ничуть не жалею. Что дальше было – сказка сплошная, неверье – жуткая местами, но интересная – так что дослушать было б полезно. К тому ж, совсем коротко осталось...

Для начала поместили меня с вещами на чердак, где ГОРО. На сутки, в которые я не спал, курил и всё видел вокруг шарящих в придонных слоях жемчужных тунцов, поначалу принявших меня за утопленника, но побрезгавших таким кормом... Через день приходят охранники – и ведут к начальству.

Молчун с Барсуном, в полном составе и трезвости, приняли ласково – и к вечеру всё было кончено: опростали меня на полную катушку.

Однако, надо признать, не очень-то я и сопротивлялся. Истерик точно не устраивал. Особенно когда узнал, в чём дело-то было.

Говорят мне – нам навек твой кое-какой понадобится. Жить будешь на отшибе – в загранице. Тепло там и сухо, сытно вполне. Математикой своей займёшься по новой, жизнь вообще поправишь – соглашайся, мол, а то хуже будет.

Пока беседовали и бумажки предо мной, как листы диспозиции, переключивали, пока тесты – сначала несложный, потом боевой – надо мной держали, приносит секретарша от ночного курьера из МИДа: паспорт, билет, рекомендательные записки. Дали мне всё это, я в руках верчу – присматриваюсь к своему новому имени. Спрашиваю вдруг:

– А как мне статьи свои научные теперь подписывать?

– Фамилию свою настоящую возьмёшь псевдонимом. И вообще, – Барсун говорит, – ты там особо не высывайся. По городу ходить – ходи: бабы там страшные, так что ничего – запасть навряд ли встанет. А вот знакомств долгосрочных не заводи совсем.

И вообще – сиди больше дома сиднем, тень не отбрасывай.

Тут они с Молчуном поднялись, руки мне протянули, пожали: и за обе ладони – напористо так – к двери тянут. Дверь распахивается, а там охрана с электрошоком наперевес: на выход, мол, просим, не обессудьте...

Тяп-ляп – вкололи мне через штаны, будто диабетика, успокоительное, свезли в Шереметьево, в очередь к таможене поставили, всучили в пальцы заполненную декларацию. А я стою и думаю: «Пойти, что ль, в сортир и там удавиться? Или – в кабинке о помощи закричать». Но потом жену вспомнил – хотя и сквозь сон-укол, и это меня как-то взвинтило, так что приободрился даже. Валютную карту, что Барсун дал, а секретарша зашила в лацкан – помял на изгиб, нащупал бутылку свою бесценную в сумке – и шагнул на таможеню.

Гляжу, а таможенник мой – тот самый, что за шкуры шимпов меня щучил. И он меня узнал – мигнул с приветом: штамп без базара шмякнул и рукой так показыва-ет – свободен, мол, паря.

Что дальше? Дальше – полёт в молоке облачном, карусель посадки – два раза почему-то заходили – и то хорошо, успел наглядеться: море штилевое на закате, чудные очертанья острова, похожего на гуся, с белоснежной, вроде меловой горой в виде гузки; белые домишки – как сахара песчинки, искрятся аж.

Когда с трапа сошли – смеркалось. Смотрю наверх – тлеющее небо – по тонам, по глубине – совсем другое. Совсем иное – вчистую, просто невиданное небо: сочное, как море, – живое. Опять же дома белые, у каждого цветочные горшки рядком по-над подпорными стенками палисадников, прямо на улице, и дальше – окаймляют проход и начало дворика. И чуть не над каждой горшковой клумбой – поразительно – висит по стайке бражников трубных, ночных бабочек, каких я только на картинках видел в детстве: эскадрилей зависают, сосут длиннющими хоботками нектар, как колибри, – и треск стоит от крылышек тихий, будто листают деньги в пачке.

Потом – Никосия, Лимасоль, где пришлось в гостинице откантоваться с полным бенцом. Халабуда оказалась – вроде бордингауза: битком матросня, преимущественно английская – баб на этажи напрудили, спать не давали: по коридору в гальюн пройти – только бегом и невидимкой, а то заебут до смерти, раза два только пикнуть успеешь. И то навряд. Раз даже, когда штук пять этих дыр, вокруг размалёванных, за мной погнались, ночевать остался в сортире: сижу – молюсь-матерюсь, а выйти – до ужаса стрёмно: как Хоме Бруту из круга податься.

Но ничего, обошлось. В Лимасоли сварганил кое-какие делишки – зашёл в морпредство, подал бумажки на оформление – через день забрал: на аренду своей конторки в Ларнаке.

Куда и прибыл – с великим облегченьем, проклиная лимасольскую матросню. По дороге, правда, в Никосии, где делал пересадку, сдуру запёрся на турецкую территорию, прошнырнув чудом через оцепление. Как так вышло – долго мне было невдомёк... Иду – глазею, увлёкся – особенно меня забавляли надписи на алфавите, родном почти (поначалу мне всюду вместо ярлычков мерещились осмысленные формулы), – норовлю заглянуть в каждый дворик, потому как непременно охота полазить по развалинам, если попадутся.

Вот и перелез случайно на ту сторону – миновав блокпост, даже местные и то, поди, таких ходов не знают. Только вдруг смотрю: вместо крестов-молотков на церквах почему-то стали попадаться серпы-месяцы. Тю-ю, – думаю, – а визы турецкой-то у меня и нету. А ну как депортируют меня с потрохами!

Только стал юлить – путь нащупывать обратный, – как из-за угла патруль ооновский: каски голубые, как синей птицы яйцекладка, мать их. Увидали неместного – давай паспорт. Даю. А они чуть не в кипеж: нету ихней визы. Схватить хотели – еле отболтался. Сначала, конечно, ни в какую – не верят, что так просто пробрался. Ну, я и повёл их на те развалины, ход им через подвал показал.

Отпустили, чуть раскумекав, ещё спасибо сказали, что лаз открыл. Так что ничего страшного. Даже с плюсом у меня вышло это путешествие к туркам: потому как в катакомбах, когда спичкой в одном месте чиркнул – ахнул, отколупал кусок фрески тут же – размером с ладонь. Там сюжет забавный – девушка голая, с водопадом волос ниже попы – переворачивает вверх дном здоровенный пифос, будто кастрюльку какую, – а из горшка к ней выбирается юноша, тоже совсем голый. С улыбкой. А вокруг них, надо сказать, совсем не любовная обстановочка – по периметру, полустёрто, но все ж различить – битва кипит: девушки на лошадях круговую оборону от всадников держат – с мечами все, один ранен пикой, другой без башни уже – и тётка какая-то его срубленную голову уже к седлу приторочила. В общем, повезло. Очень художественная попалась мне находка: тела и лошади на фреске переплетены были в настолько подвижный рисунок – что не оторваться.

Ещё мне в Никосии кофе очень понравился – всё никак я не мог после «успокоительного» отойти, всю дорогу ходил сомнамбулой, глушил кофе, чтоб проснуться. Крепкий, сладкий, с солью-перцем. Такой ядрёный, что с каждым глотком сердце – прыг-скок – и выше, выше в груди, аж под горлом уже толчётся... Как-то раз расчувствовался я и похвалил кофе хозяину кофейни – тот расплылся:

– Кофе, – говорит, – должен быть чёрен, как ночь, горяч – как ад, и сладок, как любовь...

В общем, проторчал я в Ларнаке худо-бедно три года без малого. И то дело. Подзаработал немного, а под конец – обогатился даже. Только чуть не помер при этом. Но хранил Всевышний – по случаю. Тут вот в чём дело.

Канторка, где я афёрил, была совсем маленькой комнатушкой – восемь на семь по улице Исофокла. Первый этаж, вход прямо с улицы – под неброской вывеской; окошко одно пыльное, бамбуковые жалюзи, стойка перед задником; в нём – стул, секретер, с крышкой надвижной, на нём – дырокол, бутылка та самая – маленькой стелой, папки, факс-телефон, кассовая наборная печать да книжка какая-нибудь или ксерокс научной статьи. Назади, на стене – карта Средиземноморья, лист с расписанием рейсов и – кусок той фрески Никосийской, приделанный гвоздём к стене, в толстой рамке.

Торговал я также билетами и на морские круизы, но больше – на паромы местного назначения. Чаще всего покупали оптом – два деляги: палубные места на Хайфу за ночь – и вечером обратно. Закупались они редко – вперёд на две-три недели; звонили прежде – чтоб я поспел, в свою очередь, вызволить резервацию в мореходстве – и присылали днём позже курьера, которому я выдавал пачку выписанных безымянных – самых дешёвых, палубных билетов. Так что времени у меня было навалом, и торчал я у себя совершенно один – никто никогда ко мне не совался.

Летом на улицу днём старался не выходить: жара стояла такая, что прогулка по риску сравнима была с выходом в открытый космос. В жару жизнь в городе начиналась чуть свет – вообще затемно: ещё на ощупь открывались жалюзи мастерских, у фруктовых лавок с сонной руганью под нос происходила расстановка товара – стукали на прилавок ящики, расчехляли весы и кассы, танцевально поскрипывали тачки зеленщиков, роскошно везших на мягком, шинном ходу вороха овощей в росе обильной, как в брильянтах.

(Часам к одиннадцати всё подчистую вымирало, будто в комендантский час. К тому ж иногда в полдень мне становилось... странно, если не сказать страшно: бывало, по делу позарез надо наружу выйти, но не могу – знобко мне, жутко аж до жмурок. Как в месте разбойничьем ночью. Хотя и свету полно, а жуть такая – прямо дышалку спирает: всё отчего-то мне мерещилось чудовище полуденное по переулкам где-то – бродит прозрачно, тяжело, огромно...)

Людишки шевелиться начинали только на закате – и то лишь на последней его фазе, когда тень от углового дома доползала до самого конца улицы – вроде как конь длинной шеей до корма в стойле, – и воздух становился совсем розовым.

Дом мой был выложен из толстеного кубика – известняка, пористого, с россыпью ракушек на срезе, и кое-где сине-перламутровых, как куриные желудочки, «чёртовых пальцев», – так что внутри было прохладно. Спал я здесь же – в заднике конторки, где был санузел и пазуха вроде чулана с тюфяком и оконцем в две раскрытые ладони; в окошке этом жил по утрам – на солнце нежной зеленью в прожилках – шершавый лист инжира, росшего в заднем дворе: муравей иногда приходил топиться от жажды – в капельке млечного сока на полюсе плода, день за днём в полный рост наливавшегoся от самого черенка, будто шар воздушный от горелки.

Обедал я обычно наверху, во втором этаже – у соседки-гадалки. Болгарская цыганка, толстая добрая Надя держала у себя дома гадательное заведение – по хиромантии и Таро. Приходили к ней регулярно одни и те же клиенты. (Однажды глядя привычно на куцую их вереницу, каждый вечер переминавшуюся у винтовой лестницы, ведшей к Наде, я подумал, что нужда в услугах гадалки – что-то вроде страсти по частному психоаналитику, вроде дыромоляйства, только гаданье – более честная все-таки деятельность, чем лженаука – психоаналитика.)

Обвыкшись друг с другом, мы с Надей стали добрыми соседями. Кормила она меня за грош – овощной южной вкуснятиной. Сама заквашивала брынзу (крошево сычуга, растираемое в ладони, драгоценно ссыпалось в молочный жбан, как намытое золото в множительную реторту). Драхмы-лепты мои брала нехотя – говорила, что я ей сполна отплачиваю своим обществом (на деле – пустой и ленивой болтовнёй в ответ на расспросы про заморские страны советской жизни). Только вот мучила меня Надя немного сводничеством, которое, увы, было у неё в крови. По-кормит-покормит – и, как следующее блюдо, достает нежно альбом с фотками. Я и смотреть уж потом боялся – такие там все крокодилы были: бровастые, с веерами-цветочками, шарфиками, глазищами...

А Надя всё мне альбомчик подсовывает, новеньких там расхваливает. А пока нахваливает – варит кофе, раскладывает пенку ложечкой, разливает и приговаривает с умыслом: вот, мол, тебе кофе мой – ночи чернее, ада жгуче, слаще любви...

Однако с любовью мне на Кипре долго что-то не фартило. Ходил по кофейням, по пляжам, как призрак в предвкушении воплощения, – ни одной так и не нашлось, чтоб сумела меня отвлечь. Всё жена мне где-то рядом прозрачно мерещилась. Да я уж и забыл, что она мне женою когда-то была – так... образ некий.

Правда, был всё-таки случай. Неподальёку от конторки моей девка одна на углу стояла. Мало было что-то у нее клиентов, несмотря что ко всем проходим подряд, кроме баб, липла. Да всё какие-то старенькие ей попадались. Уйдет с таким пузачом – брюхо спереди, чётки сзади, – а минут через двадцать снова на углу топчется.

Ну, я как-то днём, в самый полдень, когда улицы солнцем вымело, – дай, думаю, схожу к ней – узнаю, как живёт, или еще там что-то.

Страх-робость поборол – и двинул. Обрадовалась, однако. Повела к себе. В подъезде кошка с крысой цапались: стоят друг пред другом, фырчат – но ни одна ни с места. Кругом чад по лестнице вьётся: мочой и баклажанами жареными страшно воняет. Лестница – крутая и тёмная – вроде как в башню ведет.

И чёрт его знает, что там наверху. Дорогой мне и расхотелось.

Однако пришли. А дома у неё, в чердаке – старушка-мать и сестра горбатенькая – обе жалкие такие: в личиках кротость придурковатая и радость, что клиент

имеется. Меня увидели – чаю налили и сами куда-то провалились. Сел я к столику низенькому чаю попить, в окошко на крыши глянуть – а она хлоп – на колени, груди вынула – и ко мне между ног лезет...

Я говорю – подожди: за чай тоже заплачу. Да куда там.

Стянула до колен шорты, я чай себе вниз пролил – чуть не прибил дуру. Однако сдержался. А она молодец оказалась – ласковая. Тем временем разволновался я почему-то сверх меры, жена опять примерещилась, замутило меня, завертело... – да как блевану с горя чаем. Оплошал в общем. И ее забрызгал.

Да уж, конфуз – всем конфузам конфуз.

Ну, крик подняла. Мамаша с сестричкой снизу влетели. На ступах. Или – на птице Рух, как мне потом показалось. Кругом крыльями молотят, подпрыгивают, волосы рвут, к моим тянутся. Сестричка ейная на горбу рубаху разодрала и тычет – хочет что-то мне показать. Смотрю – а там на горбу татуировка искусная, цвета невиданные: поразительно, прямо-таки загляденье. В ступор вошел, забыл про всё, пока разглядывал: по горбу холмы лиловые идут, сады по ним в цвету, а между – под башней в чаще, озеро лазурное: на дне его что-то странное, очень знакомое – девушка с распущенными до ягодич волосами сверху юношу любит...

Я обомлел, а горбунья обратно от меня воротится – и куда-то вверх тычет и пальцами трёт.

Я в панике. Ругань теперь такая поднялась, что лучше б сразу съели. Мать к окну подлетела – караул орёт, а моя красавица ползает по полу, царапает ноги мне голые и голосит, как по покойнику. Хорошо, догадался – дал плату, кинул об пол пачечку: затухли сразу.

Когда спускался – на лестнице мертвые крыса и кошка лежали: плюнул.

Больше к ней не ходил, не думал даже.

Да и она потом с угла пропала куда-то.

Основным же делом моих афёр была, конечно, отнюдь не продажа морских билетов. Раз в месяц, или в пол-, приходил мне факс с номерами счетов, сумм и атрибутами банков. Я тут же пропускал входные данные по своим разработанным схемам, коротко прикидывал результативность и рискованные заклады, находил выход – или его не находил: тогда посылался обратный факс с просьбой пропустить два-три таких-то начальных варианта по таким-то цепочкам мадагаскарских – или ещё каких оффшорных трансакций, получал вскоре подтверждение, – и тогда звонил в местный банк: чтоб предварить клерку ожидание такого-то перевода и попросить его подготовить к обналчке такую-то кучу денег.

Затем шёл на соседнюю – Миносскую, кстати, – улочку, покупал в аэродромной конторке, вроде моей, билет на гидрокукурузник, летающий по местным линиям, – на Порос, Гидру, Поклос, Траксос, на Каламат, или еще какой чудный остров Эгеи; перед самым отлётом шел в банк, набивал деньгами рюкзак – и бежал к причалу на посадку.

Далее – через час-другой невероятной болтанки, трясушки, искупавшейся, правда, сполна ярчайшей лентой бреющего полета над морем: над эскадрильями дельфинов, куролесившими в гоньбе за хамсовыми косяками, которые, лавируя массой, мерцали стремительным серебряным телом гигантского пловца, распластанного в глуби, – полёта, иногда фланирующего роскошно по кайме береговой линии, однако с неизменным, время от времени пополняемым гигиеническим пакетом у подбородка... И вот я выпрыгивал со спускного трапа этого «гуся-лебе-дя», неуклюже, вразвалку покачивая крылами, подруливавшего к дебаркадеру, сердито расталкивая, цепляя, толкаясь, с пилотным матерком в открытые форточки кабины, меж группками нелегально пришвартованных фелук, баркасов, шаланд, – и мчался в отделение местного банка – спуститься скорей вместе с охранником

в хранилище и вывалить содержимое рюкзака на вычисленный заранее счёт: с тем чтобы очередная порция Денег теперь уже необратимо канула по корректно законспирированному каналу.

В общем и целом, деятельность моя как курьера-аналитика мне самому странно напоминала несколько шулерскую – и вполне уничижительно-комическую – работу так называемого «демона Максвелла» из знаменитого термодинамического парадокса, якобы опровергающего закон непреложного увеличения энтропии неравновесной системы: гипотетического зверька, умно и ловко распределяющего быстрые и медленные молекулы газа по разным частям испытываемой системы...

Ночевал я обычно на пляже – чтоб зря не светиться по гостиничным гроссбухам – и утром летел обратно. Со своим, хотя и мизерным процентом от отконвоированной суммы. Со своей зарплатой.

Личные деньги я держал частями в двойной крышке секретера и в тюфяке – с большим или меньшим равнодушием ощупывая уже туго наполняемую вместимость своих хранилищ...

Так продолжалось два года, став привычным, машинальным делом. Я давно уже перестал трястись от злости при виде денег – от жгучего желания все их тут же пожечь: от ненависти к идее всеобщего эквивалента вообще. (Поначалу это действительно было для меня проблемой: в первые три ходки я ни копейки не удержал в пользу своего процента – и далее не собирался, неблагоразумно не учитывая – на что мне придётся жить, – но на четвёртый раз в факсе, помимо столбика кодированных цифр, объявилась приписка: «Во избежание приказываю удержать четырежды». Тогда-то меня эти суки и подписали на поруку: «Во избежание...»)

Кстати, забыл сказать, в первую же зиму – дождливым промозглым январским вечером – выяснилось, почему я так привязался к той своей бутылке.

Январь тогда на Средиземноморье выдался шибко прохладный. Поговаривали, что виной тому война в Заливе. Объясняли, что от «Бури в пустыне» – поднялось облако дымно-пылевое и, двигаясь к Синаю, заэкранировало собой ультрафиолетовую часть солнечного спектра. А стало быть, и пустыня чересчур остыла в тени и никак не могла нагреться. С конца декабря на остров регулярно рушились дожди. Раз даже снег выпал – это у нас-то! – на побережье. Местные, которые снег видели только по телику, думали – всё, каюк – опал саван.

Вот и в тот вечер ливень – стена за стеной – рушился порывами. Гром, молния, сигнализация у автомашин детонирует – вой стоит, как при Помпее, раз даже сирена противовоздушной обороны сработала от удара: долбанула молния в бензозаправку, в кессонные резервуары саданула – громоотводов здесь из экономии не держат, так как даже простые дожди тут редки, как метеорологическое ископаемое, не то – грозы. А воды-то по щиколотку – бьётся ток ее по улицам, как Терек бешеный, в дверные щели хлещет. В общем, совсем неуютно.

Потому я буржуйку себе смастерил накануне – обогреться. С утра зашёл к жестянщику, на листке набросал ему раскрой: он мне в полчаса всё разрезал, залудил: денег брать не хотел – говорит, не по-соседски это. Трубу я сварганил из гофры от вытяжки кухонной и вывел прямым в фортку. Топил ломаными ящиками из-под яфских апельсинов, которые покупал у Христоса, хозяина фруктовой лавки за углом.

Так вот, сижу я тогда у печурки – дождина ливня вовсю хлещет-вует, пламя языками пляшет, танцует – будто волосы рыжие – Горгоны там, Стюарт Марии, или... жены, – вдруг я подумал.

И вот, взгрустнув, взбрело мне выпить малость, чтоб спать покрепче завалиться. Только мало что-то «Курвуазье» у меня оставалось. Лизнул я на донышке – вот весь и вышел. А хочется ещё – для пущего согрева. Тогда-то я и вспомнил

про свою бутылку. Про «Чёрного доктора». Решил почать ее наконец. Сходил за штопором. Уселся.

Только ввинтил – смотрю, а тут такое! Что-то привиделось мне в стекле на просвет. А надо сказать, что «Чёрный доктор» напиток совсем, как чернила, непрозрачный. Через него и солнца-то не увидишь. А тут мелькнуло на огне что-то. Ну, поднёс я бутылку к самому пламени, пригляделся – чу, а там, на донышке – человек.

Я чуть не рехнулся. Бутылку выронил. Не-ет, думаю, мерещится. Мышка это. Занырнула в бутылку при розливе. Или её, утопленницу, вместе с вином из жбана влили. Нырнула, попила сладость пьяную, захлебнулась – вот и попала, бедняга. Поднимаю я бутылку – а там точно: человечек маленький, вроде светляка-зародыша плавает, ручками двигает, зовёт, сказать что-то хочет – и лицо у него, хотя и страшненькое, но – умное, страдающее даже...

Ну, и заорал я тогда – как же не заорать-то, когда страсть такая вот примерещится. И бух – в обморок.

Утром просыпаюсь – в чужой постели. Оказывается, меня Надя кой-как к себе перетащила – крик услышала: думала, зарезали меня или подожгли. Примчалась – смотрит: лежу я, не дышу, и пена у меня вокруг рта, вроде как брился недавно. Ну, думает, сосед ей попался припадочный. Однако пожалела – побрызгала, я замычал, и – к себе, как медсестра раненого, на горбу – еле-еле, говорит, но втащила.

Только я не верю, что она одна донесла меня.

И – донесла ли?

Я после этого случая на пару недель прекратил свои научные занятия. Решил – такие кошмары объяли меня от переутомленья. Отдыхал я со вкусом – лёжа в постели. Два раза факс начинал шуршать – выползали заказы. Жутковатое это дело – факс, между прочим. Лежишь в тишине глубокой, покой свой лелеешь. А тут вдруг в комнате, без предупрежденья – шур-шур-шур, шур-шур, тр-р-р-р, тр-р-р-р – будто кто-то лапкой когтистой невидимой выцарапывает грамотку из щели ...

Ну, я потом отписал, что не мог вовремя прореагировать – болел: отнеслись с пониманием. Кстати, пока болел – война в Заливе блицкригом закончилась, скважины потушили: дожди прекратились, дело к весне пошло – в жилу погода мне влилась с выздоровленьем, так что к концу февраля я как бы оказался на третьем небе от беспричинного счастья... А бутылку ту с тех пор как талисман стал беречь, пить её и не думал даже.

(Между прочим, отмечу здесь факультативно: пока я тогда отлёживался, пришла мне одна интересная штука в голову. Сумасшедшая, конечно, но не менее сумасшедшая, чем самый её предмет размышления – история. А история и в самом деле – штука вполне тайная, поскольку она не выражает время, как обычно думается, – а уничтожает. Вздумалось мне тогда размыслить, что ж это такое происходит в мире – откуда все эти передраги: на Родине моей, хотя и промежуточной, да и вообще – всюду в мире. Откуда вот, например, эта война? Ну, ведь известно, что чем фантастичней выдумка, чем она менее имеет под собой известных оснований, тем она ближе к истине. И вот что я по поводу новейшей истории вкратце надумал. Вывел я, что причиной всему такая inferнальная штука: нефть. Ею в аду топят. Хотя настоящий ад – это холод. Но чтоб лёд получить – надо сначала растопить пустоту. Например, чтоб космическую холодрыгу образовать, Б-гу надо было Большой Взрыв устроить – без огня полымя – выходит, что никак не образуется, так сказать; чтоб температуру понизить, надо непременно энтропию раскошегарить, это – по закону...

Тут как раз Надя-гадалка пришла ко мне в гости – соседа больного проведать, бульончик там, пирожки принесла, спасибо. А я – бульон выхлебал да весь бред этот под пирожки с компотом и выложил.

А она-то рада. Сидела – заслушалась, хотя и не скумекала, поди, ничегошеньки. Очень она мировыми новостями интересовалась. Раньше всё расспрашивала у меня про Перестройку и глупости всякие, вроде – правда ли, что Горби – агент.

А мне-то из собеседников хоть кого подавай – лишь бы не глухого. Вот я и спохватился. А как разошёлся – понесла пристяжная, да коренника завалила, дура...

Вот и говорю я Наде: нефть – вещь inferнальная потому, что уж слишком мощно – тевевым и прямым образом – она влияет на человечество. Потому как она – «философский камень», типа асфальт, озокерит, воск горный: сама мусор, да из себя, мусора, путём перегонки, алхимической, между прочим, золото образует. Зороастрийцы-огнепоклонники вышли из нефтяных колодцев. Англичане персов против России завсегда науськивали из-за керосина: за то и объявили джихад Грибоеду. Гитлер слил всю партию под Сталинградом – в битве за бакинскую нефть. Говорят, Волга тогда пылала страшно: пролилась кровушка земная из хранилищ, с человечесьей смешалась, сама в жилы горяче вошла – и оранжевые мастодонты, рванув из палеозоя, замаршировали по небу над рекой...

А начал я свои измышления от причины жизнетрясений на родине. Известно ведь, от чего стряслись: <...>.

Здесь Надя ахнула, перекрестилась и компот мне поскорей еще подлила. А я хлебнул, фигу разжевал – и дальше, только меня и видели, т. е. слышали:

– <...>. Они же, чуя удавку, двинули на попятную, но без боя решили не сдаваться, затаившись. И бой этот произошел: в Заливе. Это не С-Ад-Дам двинул войска на лакомый, вражеский Кувейт, где золото – чуть только палку ткнёшь – в морду хлещет. Это – они ва-банк двинули единственный свой резерв. И проиграли. Бесповоротно.

Тут Надя не выдержала да как ляпнет в сердцах:

– Ой, – говорит, – а я-то, грешная, в лампадку заместо елея керосин наливала, вот ведь дура-то, прости, Господи... Чтой-то теперь будет с того, милый, а? Как думаешь?... Такая вот странная мыслишка мне вперилась в голову при отлёжке.)

Да-а, со временем такой – не сказать благостной, однако совершенно необходимой мне потусторонней жизни – глаз у меня замылился. Потерял я бдительность, инстинкт самосохранения притупился. Привычка вообще – гиблое дело: смерть как бы. И только к смерти, как к любви, нельзя привыкнуть.

Хорошо, однажды случай один приключился. Без особых последствий – кроме нервогрёпки, но он вывел меня по ветру настороженности: ухо я после стал держать остро. Подспудно, конечно, бенц я этот всё же предвидел – поэтому испугался, но не смертельно. Потому как твёрдо знал, что в таком деле не оставляют в живых не только свидетелей, но и исполнителей...

В позапрошлом июне пришлось мне переставить бутылку с секретера на подоконник. И вот почему.

Всю зиму факсы не приходили. Я не стал волноваться, а даже обрадовался: суеты стало явно меньше – а у меня как раз пошла работа: задачка одна, поставленная мне шефом еще до аспирантуры, вдруг разрослась решением чуть не в монографию. (Надо сказать, тогда в проблеме по вычислению центрального заряда алгебры Вирассоро двухмерной конформной теории поля явный прорыв наметился.)

Так что я совсем дома засел – с утра колол в миску фунт синеватого кускового сахара и глушил чай вприкуску, – как по маслу, набело оформляя по-английски параграфы: чтоб сослать в «Physics Reports».

Стал больше гулять по вечерам – для отдыха: купил себе спиннинг, оснастил его как самодур простейший, только ещё бубенчик поклёвный приладил – и на закатах ходил на волнорезы: почитать, стишок нацарапать, одну-другую кефальку подсесть – ежели, конечно, на мидию клюнет. В общем, лафа сплошная, закадычная даже.

Но однажды возвращаюсь я, стало быть, с вечерней зорьки – захожу в свою конуру, ставлю удочку в угол. Только – ша! Кто-то был у меня, был – на секретере, сволочь, шарил: бутылка моя подвинута (чёткий полумесяц чистого от пыли пятнышка), и у телефона трубка шнуром наоборот перевернута...

Э-э, думаю, так не годится. Шасть рукою под крышку – деньги на месте. И в тюфяке – тоже, оказывается, на месте, хотя и шарили – матрас не то чтобы смят – лежит как-то наискось...

Походил я, подумал, трубку поправил... Главное, думаю, бутылку переставить, а то сопрут ещё – алкашам на поживу...

И переставил – на подоконник, за жалюзи в уголок задвинул – так чтоб с улицы её только под острым углом разглядеть было возможно.

И успокоился. Только зря – как в августе оказалось.

Тогда, в августе, этот бенц, официальный-то, и вышел. Но тут виноват оказался я сам – счастливчик однако чрезвычайный, что обернулось всё так прилично.

А вышло всё через мою растрату.

Растратчиком я оказался. Как? А вот так – решил дело одно кровью из носу про-вернуть – на деньги чужие. Несмотря ни на что – хоть режьте меня, полосуйте, а приспичило мне сварганить дело то срочно.

Докладывал я, что под конец, на третьем году своего резиденства, стал я понемногу рыбачить на волнорезах. После рыбалки обычно шёл в кофейню на набережной – кофе напиться.

А там дед один симпатичный завсегдаем приключился. Всё время один восседал печально – пока с ним я не познакомился. Красивый был дед, я его сразу заметил. Аккуратненькие усики, нос грандиозный, очки круглые, пиджак мятый, затёртый местами до блеска, но видно, что – дорожкой ткани. Глаза у него были необыкновенного выражения... И вот особенное: кашне он пёстрое носил всё время, в самое лето даже.

Как-то раз подсел он ко мне – внезапно, не ожидал я – по такому гордому его виду. Я, как полагаются, спохватился – по чашечке кофе, коньяку по напёрстку заказал – поставил...

Разговорились. Рассказывал он немного, но метко: долго думал прежде – на море смотрел, будто там являлись ему картины. Английский у него к тому же – просто заслушаться. Я поинтересовался: откуда навек?

– Отец мой, – отвечает, – в Лондоне до войны лавку трикотажную открыл и лет пять держал, а я у него – приказчиком, с братьями на пересменках.

Ну, думаю, мне такого знакомца послал сам Бог, соскучился я по разговорам. Так и зачастил я в кофейню эту, даже забросил почти рыбалку. Приду, бывало, сколупну, распотрошу ножичком мидию, наживлю, закину донку, бубенец на ус нацеплю, посмотрю на закат и как по нему яхты из бухты ходят, в свете тонут – и иду поскорей кофе глотать, смотреть, как догорает – и слушать моего обожаемого Йоргаса.

Вообще, это очень здорово, когда у собеседников – один на двоих – беззвучный предмет интереса: закат над морем, скажем. Тогда паузы в беседе – никогда не бывают пустыми: молчать можно сколько угодно, скучно не будет – свету полно. А свет ведь – лучше смысла.

И вот, рассказывает мне однажды Йоргас такую вот катавасию.

В октябре сорок четвёртого подлодка немецкая здесь, у Ларнаки, в бухте одной укромной всплыла и два дня стояла: может, чинили в ней что-то фашисты, или так просто – отдыхали. Решил это Йоргас проверить подробней. Залёг с биноклем в скалах, смотрит: а фрицы на баркас из лодки перегружают какие-то ящики. А ящики-то – тяжеленные, приметные к тому же – оловянной фольги лохмотья из-под крышек выбиваются: они их лебёдкой из люка в рубке один за другим тягают – и счёта им нету. Штиль на море стоял, и по ватерлинии хорошо было видно, как баркас набирает осадку.

Ну, Йоргас посмотрел-поглядел, и тут его осенило. Слух по городу ходил, что месяц назад в Салониках фашисты еврейскую общину погромили. Людей в грузовики загнали, а ценности в ящики из-под чая, оловянной шелухой выстланные, запаковали. Богатая была очень община в Салониках, зажиточная – более сорока ящиков одного золота да брильянтов вышло. Ну, людей, как водится, куда-то подевали, а сами ящики к морю свезли, в штабеля на причале сложили. К утру они все исчезли, будто чудище морское языком слизнуло: никто, даже начпорта, не знает – куда подевались, потому как ни одно судно не ушло из бухты и на шварт ни одно не подходило...

Смекнул так Йоргас – и к ночи добыл у партизан старую английскую – на механическом приводе, специальную диверсионную торпеду: ещё с первой немецкой войны трофей – партизаны из неё тротил для взрывчатки хотели наковырять – или вытопить, в крайнем случае. Сами бойцы на такой шаг решиться струхнули – и Йоргаса отговаривали, но не тут-то было: дед мой оказался героем.

А торпеда – исправной.

Полбрюха лодке разворотила. Йоргас сначала, как смерклось, привёл завод в действие: там пружина тугая, как ус китовый, насажена на маховик, и её закрутить надо – вроде как на будильнике.

А то не хватит разгону.

Вот и крутил изо всех сил, боясь, что засекут. И засекли – прожектором нашарили: когда уже в воду спустил охапкой и по курсу нацелил на поражение.

Ну, тут такое началось. Стрельба – почище метели. Хотели подбить торпеду. Штиль вскипел от очередей – хоть яйцо, чтоб вкрутую, бросай. Разок попали даже: а ей, машинке чёртовой, хоть бы хны – прёт напролом, не хуже гончей.

Баркас тут же, как кипёж поднялся, – снялся с якоря и затарахтел, утекая. А фрицы ещё для проформы попалили туда-сюда – по воде, по скалам – и попрыгали, кто успел, в море. А успели немногие: как долбануло – лодка на дно канула с креном и воем – от урагана в пробоине, хлобыстнула хвостовым стабилизатором по воде – и как не было; щепки только всплыли и кое-какой мусор закружил в воронках.

А тех, что на берег вскарабкались, – партизаны тут же перещёлкали: собрали всех в кучку и порешили разом.

Такой вот рассказ дед мне поведал.

А я и задумался. Крепко.

Вдруг слышу – бубенец мой звенит, аж заходится. Я бегом на причал – удило ходуном ходит, вот-вот с упора соскочит... Подсекаю, подматываю – чую: тяжело идёт, не вываживается... В общем, потратился я порядком, пришлось в воду сигать – подсачиком-то я так и не обзавёлся... Однако, чудный пеленгас попался (мы его потом с дедом на углях в моей буржуйке оприходовали).

Возвращаюсь в кофейню с уловом. Вешаю рыбину на оконный крючок. Посетители кивают и цокают.

Закат тем временем догорел, только рыжими перистыми лоскутами ещё кое-где остался – да и те, нежные слишком, растаяли в минуты. У оконной рамы занялось тихое свечение: на блёстках крупной чешуи, с лишайчиками налипшего песка,

сползает закатный отсвет. Вдруг тяжёлый эллипсоид рыбины, благодаря восхищённой рассеянности взгляда, снимается с кукана и плывёт в потемневших глазах головокружительной линией женских бёдер...

Чайки постепенно, опадающими кругами оседают на воду – и, смотрю, булочник сонный в пекарню на смену ночную поплёлся...

И говорю вдруг Йоргасу:

– Это дело срочно поправить надо. Не потому, что там что-то по вашей личной вине недоделано. Вам тогда не с руки доделывать было – опасно. А сейчас – ничего, справиться можно.

Известно ли вам, продолжаю, что в лагерях вроде Треблинки, Майданека – фрицы женщинам волосы обрезали и утиль этот набивочным фабрикам посылали. Там из них матрасы варганили. А те шли в основном на подводный флот, как привилегия, вроде усиленного пайка – чтоб ещё мягче матросы под водой дрыхли. Так вот, говорю, надо здесь справедливость восстановить, хоть частично – в рамках одной лодки хотя бы. Я, говорю, как представляю, что там, на дне, фашисты на волосах наших женщин лежат – в глазах темнеет. Важно ведь это очень – святое от будничного отделить...

А Йоргас смотрит вприщур – не на меня, на море – и вроде как капелька у него в уголке глаза мелькнула...

На том и порешили. Нарисовал мне Йоргас подробно, как добраться до этой заветной бухточки: тропинки к самой воде там нету – скалы кругом, и с них почти нет прохода, разве что для альпинистского навыка.

Следующей ночью, перед рассветом, съездил я туда на такси на разведку, вроде как рыбу половить, – и удочки для отводу взял.

Как светать занялось – страховку к валуну приладил, закрепил: без труда особого на берег стравился. Целый день провёл я в этой бухте – чудеснейшим местом она мне показалась: загорал, купался, стишок один даже нацарапал. Пришел к выводу – отменно пустынное место: за весь день никого не встретил, и обзор с моря – очень укромный: скалы шатром в обнимку нависают, два домика обрушенных всего прилепились в запустении ландшафта на верхотуре, а у устья камень подводный стоит торчком высоченным.

Через день, увы, пришлось лететь мне внезапно по делам на Гидру – отвлёкся от дела, чертыхаясь. Что-то они тогда зачистили с переводами – уже пять раз сряды отлучался я за последний только месяц – а летать на гидроэтажерке, сами понимаете, – то ещё удовольствие. (Между прочим, отмечу в скобках одной такой забавный перелёт, чтоб ясно стало, что не только мёд я пил в своей курьерской деятельности. Попали мы как-то на подлёте к Траксосу в суровые объятия грозового фронта. Мы – это человек десять пассажиров, плюс коза, которую один дедок перевозил, – сморчок чахлый в кепке, с подвижной нижней челюстью, что дико ходит-шамкает под щеками, будто культа под пиджаком... Ну, понятно, та еще обстановочка: видимость в низкой облачности – ноль, темь сверкающая в иллюминаторах полыхает, дверцу, на простую щеколду запертую, долбит, как будто неприятель снаружи рвётся, – а пилоты – в шторку, распахнутую в кабину, видно – положили оба ноги на штурвал, что-то из фляжки по очереди сосут и переговариваются, насчёт – сядем, не сядем, и хватит ли топлива, чтоб возвратиться.

Но самым страшным в этой истории была коза. Дедок её, чтоб зря не трепыхалась, распыл на поводках меж лавок. Притом все уже по третьему гигиеническому пакету наполняют, рыгают и стонут тоскливо, как в застенке – желудочная вонь в салоне горькая, страшная стоит, а коза – странное дело – ни ме-ме, ни гу-гу, – только ссыт беспрестанно от страха. Все блют взахлёб, самолет от объяввшей его трясогузки ходуном бродит, молнии долбят так, что башка трещит – не то что только уши, – а коза – поминутно – фр-р-р-р, фр-р-р-р: отливает обильным пото-

пом, уж почти по щиколотку всем достало. А я смотрю на всё это, сам блюю потихоньку и думаю: очень странно – откуда в козе такие запасы?! И это меня, как ни странно, мало-помалу спасает – в таких страшных делах главное – за что-нибудь, за самую глупость зацепиться, только чтоб с ума не сойти... Тем временем, смотрю – мы уже третий раз на посадку заходим – да всё без толку: нет визуального ориентира, а диспетчерский пеленг из-за помех не ловится. Слышу – пилоты переговариваются: со стороны моря в бухту не зайти – потому что шторм, на волнении сковырнёмся-опрокинемся, а со стороны посёлка садиться на ощупь – чревато: горы, вышка, домишки и так далее. Решили ещё раз попробовать, может, мелькнёт что. Дедок, между тем, молиться вздумал – как взвоят, заблеет псалмом: мочи нет слушать. И козу свою, ссыкуню, рукою дрожащей гладит. Вдруг слышу – пассажиры орут: – Крест! Крест! – Ну, думаю, спятили – знамение им мерещится. Однако, глянул сам в иллюминатор – а там, натурально – рукой подать, под крылом самым, – крест, увитый клоками тучи, как маяк в тумане, сверкает: торжественно – и жутко, потому как – впритык. Я ещё сообразить не спохватился – вдруг слышу: тр-р-р-рр, тр-р-р-рр, тр-р-р-рр. Оглянулся – а то коза на крупное перешла: гадит как заведённая – горошек из под куцевого хвоста залпами, как уголь из забоя, пускает – а дерьмо тарахтит и в луже под ней булькает. Ну, думаю, теперь точно каюк. Однако ничуть – сели. Пилоты отлично местность знали: как крест сверкнул, они тотчас смекнули и на четвертый раз плюхнулись вдоль по склону горы в бухту прямым попаданием – на дыбы – осадили у самого причала. А коза, между прочим, концы всё-таки отдала: единственная потеря с того приключения вышла. Как стянул ее дед по лесенке на дебаркадер, тут же на бок – плюх, завалилась, подёргалась четырьмя, поикала немного – и кранты ей завинтились. И задумался я тогда: если люди страх такой пережить способны, а животина бессловесная, та – с копыт долой: то что же такое люди пред страхом Божиим – герои или чурбаны?!

Отстрелявшись в тот раз, я вернулся и тут же купил водолазную снарягу.

Для начала потренировался на мелководе – под присмотром Йоргаса. Смотрю – вроде как получается: глубины не боюсь, спазм от страха на горло не наступает... Ещё через неделю Йоргас взял у рыбака-приятеля моторку, и свезли мы ночью костюм и баллоны в бухту – и в камнях незаметно сховали.

На следующий день на рассвете облачился я по полной форме – баллон запасной взял, альтиметр, часы, кирку-захват и сетку для находок.

Для начала нырнул и тут же в камнях, чтоб обвыкнуть, пошарил. Красота-а, надо сказать, предстала мне неопишуемая: рыбки-медузы плавают, висают, шевелятся, скат-кардинал промахал капюшоном, нежные водоросли русалочьими волосами танцуют – кругом мир совсем потусторонний... Ещё мне почудилось, что мордочка ската ужасно похожа на рожицу нетопыря, без ушей только. В общем, так я загляделся, что и забыл – зачем нырял. Но вспомнил.

Плыву дальше – дно под откос в темень уходит: холодает аж до дрожи, и вокруг смеркается с каждым взмахом ласты. Я включил фонарь, смотрю на альтиметр – уже тридцать метров, а опыта декомпрессии у меня никакого... Однако, продулся. Как помнил, по писаному – в три притопа. Но вот уже лодка – лежит бочком на косогоре: камень-утёс её здоровенный от дальнейшего упаданья в районе хвостового отсека подпирает. На корпусе – кресты, на рыле – свастика – всё как полагается; в пробоине – рваной, лепестковой – рыбы косячком стоят, как жемчуг в подвеске, шарахнулись, смели строй, но скоро снова выстроились шеренгами. Смотрю – торчит у рубки лебёдка погнутая ...

Заплываю вовнутрь с мостика. Слежу по сторонам, чтоб шланг ни за что не сорвать. Опускаюсь дальше, шарю отсеками к кубрику – жутко: подлодка эта – чистый Голландец Летучий: черепа врассыпную, рёбра – на ощупь, как пенопласт, крошатся. В кубрике – посуда бросовая, консервные банки, вороха шоколадной

фольги, там и сям висят фигуры шахматные; кости уложены на койках в одежде, понавалены матрацы... Вдруг, когда дверцу потянул на себя, прижался мне теченьем к маске листок... Гляжу – фотокарточка: краля белобрысая в пеньюаре, ножка на ножку – откинувшись, тянет папироску в длиннющем мундштуке...

Вспарываю один – так и есть. Обвязываю проволокой штуки четыре – и тут вдруг пропикало: смотрю – давление в баллонах упало; а почему – неизвестно.

Я – наружу. Всплываю медленно-нежно, будто мину с растяжки вытягиваю. Но уже задыхаюсь: дышу часто, как после забега, пузыри кругом кипят, ничего не видать – а толку чуть: будто пустотой дышу, что ли.

Спасибо, Йоргас меня наверху на лодке встретил – помог откачаться...

Три дня я нырял за матрасами как угорелый: себя забыл, не то – остальное прошлое.

Я доставал их, как сокровища, больше – как самую бесценность – жизнь. Всё на лодке обшарил, все достал.

В день последний Йоргас добыл где-то фелуку на дизеле: привёл в бухту. На закате выпотрошили мы все матрасы в громадный жестяной контейнер из-под кофе, все – до единого волоска.

Как радужный свет ссыпались волосы, вспыхивали от заходящего сильного солнца, унося его в глубокую темень.

Контейнер мы свезли в город к причалу и поместили на грузовик. Ночевал я в кабине – сторожил.

Наутро прибыли мы на почту и оформили посылку – недалеко, миль за триста к юго-востоку – в Иерусалим, в городской раввинат. Я быстро черкнул сопроводительное письмо без подписи, где разъяснил – что к чему: мол, надо, чтоб груз этот был похоронен там, где следует.

Отправили, уплатили спецдоставку – и вернулись в нашу кофейню: помянуть.

Заказали – как полагается. Приняли. Вдруг у Йоргаса – бац: глаза на мокром месте. Я ему: не плачьте, пожалуйста, всё в порядке будет: они теперь свет увидят...

А он – ни в какую: я, говорит, сколько живу – всё понять не могу, что это было.

Хозяин кофейни к разговору нашему прислушался, подходит: вы, парни, чего здесь такое затеваете?

Ну, мы его усадили, налили...

Дальше – час сидим чин-чинарём, два сидим...

Только через некоторое время разнервничался я что-то. Вскочил, бегаю меж столиков, кипешусь почём зря...

Кричу Йоргасу:

– Не могу я так больше, что хотите со мной творите – не могу. Надо, говорю, взорвать её к такой-то фене, чтоб пыли от неё не осталось.

Старик молчит: мол, как знаешь...

И тут кофейщик мне:

– Что, сынок, динамиту надобно? Так что ты так нервничаешь? Сядь – выпей спокойно, а я тебе расскажу по порядку...

Ну, слово за слово, выясняется: пластид есть, только дорого. Хотя и скидка большая – со стороны кофейщика за посредство вообще нуль. И ничего тут не поделаешь – такова природа этого матерьяла.

Денег моих личных, остававшихся, точно бы не хватило. Но тут как раз перевод на Порос подоспел. Его-то я и оприходовал насчёт пластида. Решил – потом просто не буду в счёт зарплаты проценты вычитать, задарма работать стану, рабом на ихние галеры пойду – только бы подорвать эту лодку, чтоб ни атома от неё не осталось.

К тому же привык я, что без контроля внешнего живу – кум королю, что называется: миллионы через меня проходят – и хоть бы хны: доверяют, значит. Ну, и нынче поверят, ежели только спросят, конечно. До сих пор не спрашивали – а сейчас-то им что приспичит?..

Чтоб поскорей с фашистами расквитаться – сразу на Порос не вылетел: решил подождать неделю – а деньги, – помня, что рылся весной у меня кто-то, закатал в целлофан и на берегу той бухты заветной спрятал: почти в точности там, где гардероб костюму своему водолазному устроил, чуть в сторонке.

Девять дней я обкладывал пластидом лодку изнутри и снаружи, баллонов опорожнил несметно – Йоргас, спасибо, сам возил их на заправку.

Потом ещё целый день монтировал взрыватели в цепь, шнур вёл на берег. Довел всё же.

Сели мы тут же с Йоргасом, хлебнули как следует вонючего арака и – подождали глоток за глотком, покуда стемнеет погуще: фейерверк в темноте полной – он красочный самый.

Луна как взошла – мы в лодку сели. Свели ладони – и вместе нажали.

Осечки не случилось. Рвануло так, что скалы зашевелились. Под водой – будто солнце лопнуло.

Я дёрнул стартер и, обогнув рвущийся фонтаном холм взрыва, мы ретировались в город.

Там ещё на причале хлебнули немного – и разошлись.

Вот уже самый конец – и ещё немного.

Возвращаюсь домой, захожу в контору.

Ещё светом щёлкнуть не успел, а меня тут по шее – хватъ: и я в отключке.

Очухиваюсь в странном вполне положении: вишу я у окна в петле за ноги, а за стойкой моей конторской стоят Барсун с Молчуном – кверху ногами – и что-то разливают друг другу в рюмочки.

Я их – перевёрнутых – не сразу-то и узнал. Петля у меня в ногах крепкая – ступни затекли, а в голове темно – хуже некуда: кровь набежала, как при погружении.

Пригляделся ещё – сверху верёвка идёт какая-то и к батарее струной подвязана. По всему, думаю, они меня наподобие лебёдки за карниз подтянули.

Тем временем Барсун увидал, что клиент очнулся, глотнул рюмку и ко мне: так, мол, и так, где, сука, деньги?

А я – всё как есть начистоту: мол, простите дяденьки, истратился по делу, – но денег большинство – там-то и там-то: спрятал в камнях в бухте такой-то.

Барсун:

– Ладно, ты повиси еще немножко, – и кляп мне мастерит, чуть не задушил, собака.

Молчун со мной остался – одну за одной хлещет, а на оклик ни слова сказать не хочет.

Когда Барсун вернулся, во мне только полдыха осталось. Голова ртутью налилась – хоть отрывай, кровь из носа хлещет, и вроде как совсемдохну.

– Ты чего, – говорит Барсун, – нас разводишь, как маленьких? Там менты по всему берегу шарят – отлить нельзя, не то – подойти поближе.

А я мычу еле-еле: хотите верьте, хотите нет, но сказал правду – достанем завтра деньги.

Не поверили, видно.

Морочить меня стали: Барсун по почкам, Молчун – селезёнку да ребра охаживает. Лупят, как грушу. Барсун подпрыгивает, Молчун – стоймя мочит.

А я и так – без битья – уже помираю.

В общем, не стерпел я. Думаю: ещё убьют – чего ради?

Короче, дотянулся я до бутылки – хорошо, пока крепили, с подоконника её не свалили – чудом: да как вдарю Барсуну по темечку навскидку.

Тот рухнул сразу – как статуя подорванная.

Полоснул я лепестком по веревке: да так и свалился.

Очнулся, когда Молчун меня водкой брызгал. Чую на губах, что – водкой, а вокруг почему-то винищем воняет...

Ну, мне и полегчало от такой заботы, однако – не совсем: смотреть и шевельнуться могу кое-как, а говорить – как под плитой на губах могильной – невозможно.

А Молчун тем временем спрашивает меня с корточек:

– Так где же деньги?

А я смотрю на Барсуна: лежит – не дышит, башка его плешивая вся от крови и винища мокрая – и очки заляпаны подтёком...

Мне жутко стало. Говорю я Молчуну:

– Помогите товарищу.

– Ничего; одним меньше в наших планах, – отвечает Молчун, и мерещится вдруг, что мигает он мне.

И тут я совсем уж взбеленился. Не привык я ожидать от себя такого, хотя точно знаю: если припрёт под яблочко, страшен я становлюсь, как ангел-хранитель. Хватанул я тогда «розочку» от бутылки своей бесценной – и молча пыром Молчуну в брюхо накрепко вставил. И ещё завел по часовой на четверть, для верности.

Тот аж охнул – не ожидал, видимо.

Короче, отвалился он, и тут я сознание и потерял – теперь окончательно.

Надо сказать, отрубившись, я долго к себе возвращался. И мучительно очень. Особенно неотвязным был один сон-испытание, ужасный коварностью, но всё же облегченный некоторой иронией: смех вообще, я заметил из жизни, смежен по милости Божьей – страху. Снилось мне следующее. Я бегу-ползу по термитнику переулков, а за мной медленно мчится Молчун на карачках – башкой мотает, мычит, рычит, быкует, коленками пыль роет – наподобие минотавра. Или – как перед корридой спущенный в забег по городу бычара. Причём вместо рогов у него – полумесяц на темени: и холод от него я чую жутко, будто яйцами ятагана близость. И вот – очень странно – как я спасался всякий раз от такой напасти. Ползу в изнеможении – и вдруг, опостылев себе за выделение страха, ложусь на спину, в зенит смотрю через узкий створ карнизов – и плевать мне на всё. Лежу – синевой упиваюсь, солнце на переносице, как тюлень разнеженный мячик, перекатываю. И вдруг меня осеняет. Вскакиваю пружиной, подлетаю в верхотуру над клубком переулков, сграбастываю солнце в руку и, снизившись в пике, чуть отпустив шарик от себя по лёту, гашу его со всей дури Молчуну в темя, как над сеткой волейбольной. Ну, понятно, рогатый полумесяц в пух и прах, а от Молчуна – кучка пепла серебристо-лунного...

Вот такая глупость мне снилась раза по три за ночь – обнуляясь всякий раз заново, переживаясь с новой силой. И что интересно – только однажды, на самый последок, мне привиделось настоящее избавленье: перед полноценным пробуждением, после солнечного пике и броска, и взрыва – я глянул вверх – проводить восстающее в зенит солнце, и узрел: деву прозрачную, жидким золотом сверкающую желаньем, – и лоно её, со светилом совместившись вскоре, воссияло моим ослепленьем...

Окончательно я пришел в себя – в гостях у Йоргаса.

Старик в ногах сидит – поправляет кашне и смотрит вполне геройски.

Вдруг чувствую – промокает мне кто-то лоб.

Повернул через густую боль голову: девушка красоты неписаной – склонилась надо мной, но вдруг отдёрнула руку, из стыдливости.

Волосы у нее – такие чёрные-чёрные, вороные даже: так от солнца блещут – льются будто...

Йоргас мне говорит:

– Добро пожаловать обратно, – и внучку мне представляет: – Мирра.

Оказалось, к Йоргасу меня гадалка Надя спровадила. Как я грохнулся из-под карниза, на шум ко мне сверзилась сверху: и сквозь жалюзи всё-то и разглядела.

Позвонила срочно Йоргасу, а пока тот на таксо мчался – я сам с Молчуном управился.

Таким образом, загрузили они меня в машину. Надя чуть погодя вышла у полицейского участка – сообщить, чтоб биндюгов этих снизу забрали...

Такая вот история с бутылкой крымского вина у меня вышла.

Согласитесь – счастливая всё же.

Потому что на следующий день, как менты отвалили с берега, Йоргас всё-таки достал из-под камней кое-что.

А через год, когда утих шум про двух битых русских (выдворили их, перебинтованных, поскорей-поздорову), я выбрался из подполья и – уехал к Мирре во Флоренцию: она там учёбу начинала в аспирантуре по искусствоведению.

Так что – что ни говори, а всё-таки отлично у нас пробки в бутылки загоняют: иной раз намертво – не вынуть никак, хоть ты разбейся.

P.S. Да, вот ещё кое-что после этой истории у меня осталось – стишок, что я в первый день в бухте, пока загорал-купался... от нечего делать... Ерунда, конечно... Честное слово, алгебра Виассоро – и то забавней, но вот всё же – что есть, то есть, – может, кому интересно.

ДЕНЬ У МОРЯ

I

Там за пригорком в серебре
клинком при шаге блещет бухта
(палаш из ножен ночи будто),
где субмарину в сентябре
сорок четвёртого торпеда
вспорола с лёту. – Так от деда
в кофейне слышал я вчера.
Затем и прибыл вдруг сюда.
Из любопытства. Ночью. Чтобы
кефаль на зорьке половить.
Опробовать насчёт купанья воды.
И, может быть, местечко полюбить.

Таксист мне машет: «Ну, пока»,
свет фар, качнувшись, катит с горки.
Луна летит – секир-башка –
над отраженьем в штиле лодки.

II

Ромб бухты тихо вдруг качнул восход.
И сердца поплавок приливом крови

БУТЫЛКА

шевелится – и с креном на восток
скалистых теней паруса на кровли
домишек белых вдоль по склону жмут.

В кильватере лучей стоит прозрачно
невеста-утро. Выбравшись из пут
созвездий карусели – вёрткой, алчной,
по свету местности приморской дачной,
нагой и восхищённой, держит путь.

Над небом бьется белый перезвон.
Штиль разрастается шуршаньем блеска
и поднимается со дна зонтом
зеркал. Вдруг бьёт внатяг со свистом леска:

ночь – рыжая утопленница неба –
срывается... В руке – стан утра, нега.

III

Большое море. Плавкий горизонт
стекает в темя яркой прорвой неба.
Как мысль самоубийцы, дряблый зонд
висит над пляжем – тросом держит невод

метеоцентра: в нём плывет погода –
всё ждет, как баба грома, перевода
из рыбы света, штиля, серебра –
на крылья тени, шторма и свинца.

IV

Чудесное виденье на песке
готовится отдать себя воде:
лоскутья света облетают
и больше тело не скрывают –

не тело даже: сгусток сна,
где свет пахтает нам луна –
и запускает шаром в лабиринт
желанья, распуская боли бинт.

V

Солнцем контуженный, зыбкий, слепой верблюд,
с вмятиной пекла на вымени, полном стороннего света,
из песка вырастает, пытаясь прозреть на зюйд,
пляж бередит, наугад расставляя шаги на этом.

VI

Натянув на зрачок окуляр горизонта с заката рамой,
по бархану двинуть в беседку рыбного ресторана.
Сесть за столик с карт-бланшем немой скатёрки,
чьё бельмо-самобранка, будто Тиресий зоркий.

Опрокинуть в стакан полбинокля рейнвейна –
и лакать до захлёба этот столб атмосферы и зренья.

Десять раз опустело и раз набежало.
Бродит по морю памяти жидкое жало
луча – однако ж, нетути тела, чтоб его наколоты.
Вылетают вдруг пробки, и дает петуха Паваротти.

Что ли встать голышом и рвануть к причалу –
раззудеться дугою нырка к началу.
То-то ж будет фонтану, как люстре, брызгов.
Но закат уж буреет, и полно на волне огрызков.

Постепенно темнеет, как при погруженьи.
Звезды дают кругалю, как зенки Рыб над батискафом.
Или – как соли крупа, слезы вызывая жженье.
От чего еще гуще плывут очертания лиц, местечек с их скарбом.

Вот выплывают Майданек и Треблинка, где утиль
женских волос, как лучей снопа, шёл в матрасы,
на которых меж вахт на подлодках ревели от страха матросы.
И луна точно так же доливала в полмира штиль.

Июль 2001